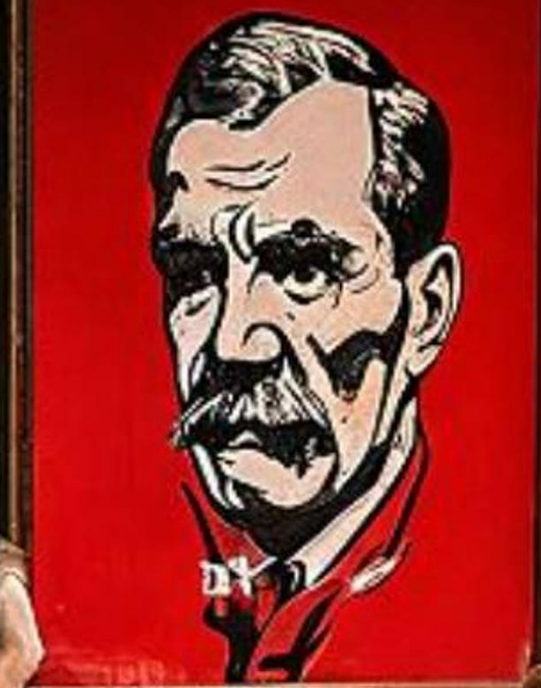


Валерий Антонов



**Книга 1.
Анатомия лжи**

Валерий Антонов

Книга 1. Анатомия лжи

«Автор»

2026

Антонов В.

Книга 1. Анатомия лжи / В. Антонов — «Автор», 2026

1937 год. Следователь НКВД господин К. умирает на трибуне во время доклада о вредительстве — и попадает в чистилище, где Бог (в образе уставшего бухгалтера с трубкой) сообщает: у него непогашенный долг перед Партией и лично товарищем Сталиным. Всю жизнь он лгал. Условие возвращения: ни слова лжи — иначе обратно в ад. К. просыпается на Лубянке. В его кабинете — два подследственных: Инженер, которому выбили все зубы и который теперь только мычит, и Философ, который якобы знает, как отличить правду от лжи. Среди сослуживцев — майор с циркуляром вместо души, капитан с глазами варёной трески и человек в штатском, улыбающийся, как Харон. Где-то наверху — Ежов, тычущий пальцем в портрет Сталина. А впереди — письмо Вождю и одно слово, которое отменяет все вопросы. Метафизический триллер о природе истины, где правда пахнет хлебом, ложь — карболкой, а бесконечность уместается в сломанной скрепке.

© Антонов В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Смерть как невыполненное партийное поручение	5
Глава 1. Утро на Лубянке, или Анатомия пробуждения.	8
Глава 2. Сослуживцы, или Хор мёртвых душ.	12
Глава 3. Инженер, который мычит, или Голос без зубов.	16
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Валерий Антонов

Книга 1. Анатомия лжи

Пролог. Смерть как невыполненное партийное поручение

Господин К. умер некрасиво.

Он стоял на трибуне и зачитывал доклад о борьбе с вредительством в лёгкой промышленности, когда сердце его — мышечный мешок, исправно симулировавший энтузиазм тридцать семь лет, — вдруг отказалось от роли. Не остановилось. Не взорвалось. Просто перестало попадать в ритм. Как оркестрант, который забыл ноты и теперь водит смычком по воздуху, надеясь, что никто не заметит.

К. заметил. Он запнулся на слове «вредительство» — слово это вдруг показалось ему неприлично точным, — схватился за грудь и рухнул лицом в кафедру. Бумаги разлетелись. Очки треснули. Кто-то в первом ряду подумал, что это часть доклада. Кто-то — что это арест.

Сознание погасло не сразу. Ещё секунду-другую К. слышал, как в зале перешёптываются, как скрипят стулья, как чей-то голос произносит: «Врача!» — и этот голос показался ему знакомым. Может быть, это был его собственный голос. Может быть, это был голос Бога. Разницы он уже не уловил.

А потом наступила тишина.

— Ну здравствуйте, товарищ К.

Он открыл глаза. Или ему показалось, что открыл. Глаз как таковых у него больше не было, но зрение осталось — странное, панорамное, как будто он смотрел на всё сразу и ни на что конкретно.

Он находился в комнате. Или не в комнате — в пространстве, которое притворялось комнатой. Стены были серые, казённые, с облупившейся краской. Потолок — белёный, с трещиной, напоминавшей карту несуществующей реки. Стол. Два стула. Лампа с зелёным абажуром — точь-в-точь как у него в кабинете. И портрет на стене. Не Сталина — Бога. Или Сталина в образе Бога. Или Бога в образе Сталина. В первый момент К. не разобрал, а потом перестал пытаться.

За столом сидел человек. Если это был человек. Он носил френч и курил трубку. Глаза его были уставшими — так устают не от работы и не от бессонницы, а от вечности. От знания всего, что было, есть и будет. От невозможности удивиться.

— Вы не похожи на Бога, — сказал К. Или подумал. Разницы здесь не было.

— А вы на мертвеца, — ответил Бог. — Но мы же не комментируем внешность друг друга.

Он выпустил клуб дыма. Дым был сизый, слоистый. Он поднялся к потолку и замер там — не рассеялся, а именно замер, как будто передумал исчезать.

— Где я? — спросил К.

— Где все. В чистилище. У нас сейчас пересменка. Рай на профилактике, ад переполнен. Так что сидите пока тут.

— Я коммунист, — сказал К. — Я не верю в чистилище.

— А чистилище верит в вас, — сказал Бог. — Это взаимно.

К. хотел возразить, но осёкся. Что-то в лице Бога — или в том, что заменяло ему лицо, — подсказывало: спорить здесь можно, но бессмысленно. Как на партсобрании, где резолюция уже принята, а прения — просто ритуал.

— У меня к вам дело, — сказал К.

— Знаю. Долг.

— Откуда вы...

— Знаю, — повторил Бог. — Это моя функция. Знать. Иногда — карать. Иногда — миловать. Чаще всего — заполнять отчётность. Но в вашем случае — знать.

Он отложил трубку. Сложил руки на столе. Руки были маленькие, сухие, с желтоватыми ногтями — как у счетовода, который всю жизнь перебирал бумаги и никогда не держал ничего тяжелее карандаша.

— У вас непогашенный долг перед Партией, товарищ К.

— Я знаю.

— Нет. Вы не знаете. Вы думаете, что долг — это то, что записано в ведомости. А долг — это то, что записано в вас. Вы всю жизнь лгали Партии. Лгали на собраниях, лгали в доносах, лгали в исповедях, лгали во сне — потому что сны тоже прочитывались. Вы ни разу не сказали Правды.

— Я говорил «Да здравствует Сталин», — возразил К.

— Это не правда. Это физиология. Рот открывается, воздух выходит, звуковые волны колеблют перепонки. Правда — это другое. Правда — это когда вы говорите то, что боитесь сказать. То, за что — расстрел. Вы когда-нибудь говорили такое?

К. молчал.

— Вот, — сказал Бог. — Молчание — это уже ближе. Но недостаточно. Молчание — это ещё не правда. Это только отсутствие лжи.

Он снова взял трубку. Раскурил. Дым на потолке шевельнулся — не то вздохнул, не то перевернулся на другой бок.

— Я предлагаю сделку, — сказал Бог. — Вы возвращаетесь. Погашаете долг правдой. Одна ложь — и вы снова здесь. Навсегда. Без права пересмотра дела. Без кассаций. Без апелляций.

К. молчал.

— Что, профсоюз не поможет? — спросил Бог. — Шучу. У нас тут нет профсоюза. У нас тут — абсолютная власть. Как у вас, только вечная.

— А если я ни разу не солгу? — спросил К. — Это что, бессмертие?

Бог затянулся. Выпустил дым. Дым на потолке разделился на два облака — одно побольше, другое поменьше. Кажется, они размножались.

— Хороший вопрос, — сказал Бог. — Очень хороший. Жаль, что ответа нет.

— Как нет?

— А вот так. Есть вопросы, на которые нет ответа. Или есть, но не для вас. Или есть, но вы не поймёте. Или есть, но я сам не знаю. Я, знаете ли, не всё знаю.

— Но вы же Бог.

— Бог — это должность. А я — исполняющий обязанности. Понимаете?

К. не понимал. Но кивнул. Кивок — это не ложь. Это просто движение головой.

— Ладно, — сказал Бог. — Возвращайтесь. И помните: одно слово лжи — и всё. Ад. Вечность. Без права переписки.

— А если...

— Не «если». Просто идите. И не оглядывайтесь. Оглядываться — это тоже ложь. Ложь, что вам есть куда возвращаться.

К. открыл рот, чтобы задать последний вопрос. Но Бог уже отвернулся. Или комната рассеялась. Или К. рассеялся сам — распался на пылинки, закружился в сером свете, потерял форму, имя, память.

А потом — темнота.

А потом — утро.

К. открыл глаза. За окном серело. В комнате пахло пылью и старым деревом. На стуле висел китель. На кителе — ордена. На орденах — кровь, которой он не проливал, но за которую отвечал. На столе — папки с делами. Телефон. Лампа с зелёным абажуром. Скрепка — целая, замкнутая в бесконечность.

Он сел на кровати. Опустил босые ноги на пол. Пол был холодный. Это было приятно. Холод — это правда. Холод не лжёт.

Он посмотрел на свои руки. Руки были его. Или не его. Или он просто забыл, как они выглядят. Он сжал и разжал пальцы. Пальцы слушались. Это было хорошо. С чего-то надо начинать.

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал он. И осёкся. Потому что не знал, кто войдёт. И не знал, что скажет. И не знал — правда это будет или ложь. Или что-то третье, для чего нет названия.

Дверь открылась. Вошла машинистка. Лицо — сушёная вобла. Глаза — две мутные пуговицы. В руках — папка.

— Доброе утро, товарищ К. Вы просили поднять дело Философа.

Он протянул руку. Взял папку. Открыл. На первой странице — мелкий, испуганный почерк прежнего следователя. Строки, загибающиеся книзу. Клякса — бурая, старая. И слово, подчёркнутое трижды красным:

«ЗНАЕТ».

— Скрепку уронить? — спросила машинистка.

— Что?

— Я говорю: скрепку уронить? У меня есть лишняя. А то ваша вон, — она кивнула на стол, — старая. Погнутая.

К. посмотрел на скрепку. Целая. Замкнутая. Бесконечная.

— Не надо, — сказал он. — Эта пока работает.

Машинистка кивнула и вышла.

К. остался один. Перед ним лежала папка. В папке — человек, который знает. За окном — серое утро. На стуле — китель. В кармане — ничего. Пока ничего.

Он встал. Надел китель. Застегнул на все пуговицы. Подошёл к двери. Остановился. Подумал: *«Сейчас я выйду в коридор. Пойду на оперативку. Скажу "доброе утро". И это будет правда — или ложь. Или и то и другое. Или ни то ни другое. Но я узнаю. Рано или поздно — узнаю».*

Он толкнул дверь и вышел в коридор. В коридоре пахло карболкой и махоркой. И ещё чем-то — едва уловимым. Может быть, хлебом. Может быть, тишиной. Может быть, вечностью, которая пахнет именно так: карболка, махорка и чуть-чуть хлеба.

Он пошёл по коридору. Шаги были ровные. Спина прямая. Лицо — спокойное.

И только где-то глубоко внутри, под кителем, под кожей, под сердцем, которое уже однажды останавливалось, теплилась мысль:

«А если я умру во второй раз — куда я попаду? В тот же кабинет? К тому же Богу? Или уже в другое место? И если в другое — значит ли это, что правда, которую я скажу здесь, изменит маршрут моей смерти?»

Он не знал ответа. Но теперь это было не страшно. Теперь это было — работа.

Он открыл дверь в кабинет Гнилозубова.

— Доброе утро, товарищи.

И утро было добрым. Или не было. Или это не имело значения.

Пылинки кружились в сером свете. Часы на стене не двигались. Где-то далеко, этажом ниже, закричали — но крик был почти не слышен.

Оперативка началась.

Глава 1. Утро на Лубянке, или Анатомия пробуждения.

Он открыл глаза.

Потолок был белый. Не серый, не желтоватый от времени, а именно белый — тот оттенок, который бывает у свежепобелённых стен в учреждениях, где ремонт делают часто, потому что стены впитывают крик, а крик надо закрашивать. К. смотрел на этот потолок минуту, две, три — и не мог вспомнить, засыпал ли он вообще. Последнее, что сохранила память, — трибуна, доклад, слово «вредительство», застрявшее в горле. Потом — темнота. Потом — Бог с трубкой. Потом — снова темнота. И вот: потолок. Белый. Без трещин. Без карты несуществующей реки.

Он сел. Кровать скрипнула — звук был самый обыкновенный, бытовой, и от этого странный. В чистилище звуков не было. Или были, но другие. Там тишина гудела, как провод под напряжением. Здесь скрипела кровать.

Комната была маленькая, казённая. Стены — белые, как потолок. Окно — одно, занавешенное серой марлей. За окном — серое небо, ровное, безоблачное, без единого намёка на солнце. Не пасмурное — именно серое. Как будто кто-то забыл добавить цвет. Или не забыл, а сознательно исключил за ненадобностью.

На стуле висел китель. К. потянулся к нему — рука слушалась. Это было хорошо. Он помнил своё тело, но не помнил, чьё оно. Вернее, помнил, что его, но чувствовал иначе — как ношенный костюм, который сняли, отдали в чистку, а потом надели снова. Вроде тот же, а складки чужие.

Он встал. Босые ноги коснулись пола. Пол был холодный. Это было приятно. Холод не лжёт. Холод — это просто информация: здесь зима, или осень, или сквозняк из-под двери. Он пошевелил пальцами. Пальцы были его. Желтоватые ногти. На безымянном — след от чернил. Он не помнил, когда испачкался. Может быть, вчера. Может быть, в прошлой жизни. Может быть, это не его чернила.

Он снял китель со стула. Ткань была плотная, добротная, пахла табаком и чем-то ещё — не то одеколоном, не то временем. На рукаве — следы штопки. Кто-то чинил этот китель. Жена? У него была жена. Кажется. Или это память того, прежнего К., чьё тело он теперь занимал. Он попытался вспомнить лицо жены — не смог. Вместо лица всплыло мычание Инженера, которого он ещё не видел, но уже знал, что увидит.

Он надел китель. Застегнул пуговицы — одну за другой. Верхняя не застёгивалась. Или ему не хотелось её застёгивать. Или она была не нужна.

На столе лежали папки. Три штуки. Одна толстая, с затёками на обложке — дело Инженера. Вторая тонкая, пыльная, с бурой кляксой на углу — дело Философа. Третья пустая — просто обложка, чистые листы внутри, бланки протоколов. И скрепка. Целая. Два овала, соединённых перемычкой. Замкнутая в себе, как змея, кусающая хвост. Как бесконечность. Как утро, которое наступает всегда.

Он взял скрепку. Повертел в пальцах. Металл был холодный. Потом тёплый. Потом снова холодный. Он положил её обратно — ровно на то же место, где она лежала. Или чуть левее. Он не запомнил.

В дверь постучали. Стук был деловой — два коротких, один длинный. Не ждали ответа. Просто предупреждали: сейчас войдут.

— Войдите, — сказал К.

Голос его прозвучал неожиданно. Он не был уверен, что это его голос. Может быть, голос того, прежнего. Может быть, голос Бога, который забыл выключить звук. Может быть, просто воздух, выходящий из лёгких.

Вошла машинистка. Он узнал её — или ему показалось, что узнал. Лицо сушёной воблы. Глаза — две мутные пуговицы, пришитые к лицу равнодушной рукой. Волосы убраны в пучок

— тугой, стянутый так, что кожа на висках натягивалась до блеска. Она была не старая и не молодая. Она была никакая. Такие лица не запоминают — их просто фиксируют как часть интерьера. Стул. Лампа. Машинистка.

— Доброе утро, товарищ К.

— Доброе, — сказал он.

И осёкся. Потому что утро было — он видел за окном серый свет, — но было ли оно добрым? Что значит «доброе утро»? Это приветствие, формула, слова, которые говорят, чтобы не молчать. Это ложь или правда? Если утро не доброе, а серое — значит, он соврал? Но если все говорят «доброе утро», не вкладывая в это смысла, — это ложь или ритуал? А ритуал — это ложь или другое?

Таблетка правды молчала. Или её не было. Или она ещё не начала действовать. Или она была не таблеткой, а метафорой. Или условие Бога было не буквальным — никто не засовывал ему в рот химию, — а экзистенциальным. Он сам теперь был таблеткой. Его тело. Его язык. Его страх.

Машинистка ждала. Она смотрела на него — или сквозь него. Взгляд её не выражал ничего. Может быть, она тоже была мертва. Может быть, все здесь были мертвы, просто ещё не знали об этом.

— Вы что-то хотели? — спросил К.

— Дело Философа, — сказала она. — Вы просили поднять из архива. Я принесла.

Она протянула папку. Он взял. Папка была лёгкая — легче, чем он ожидал. Как будто бумага внутри ничего не весила. Как будто слова «антисоветская пропаганда» и «особо опасен» были написаны не чернилами, а воздухом.

— Спасибо, — сказал он.

Машинистка не уходила. Она стояла и смотрела на стол. На скрепку.

— Уронить? — спросила она.

— Что?

— Скрепку уронить. У меня есть запасная.

К. посмотрел на скрепку. Потом на машинистку. Потом снова на скрепку.

— Зачем?

— Не знаю, — сказала она. — Всегда роняю. Привычка.

— Нет, — сказал он. — Пока не надо.

Она кивнула и вышла. Дверь закрылась без щелчка. Шаги в коридоре стихли — или их не было вовсе.

К. остался один. Он сел на стул. Стул был жёсткий, казённый, с прямой спинкой — такие стулья не предполагают долгого сидения. Они предполагают, что человек сядет, сделает дело и уйдёт. Или что его уйдут.

Он открыл папку. Дело Философа.

Первая страница — постановление об аресте. Дата: 4 апреля 1937 года. Три года назад. Три года — это много. За три года человек может забыть своё имя. Может забыть, как выглядит солнце. Может забыть, что правда бывает не только та, которую выбивают зубами.

Почерк прежнего следователя был мелкий, испуганный. Буквы бежали вправо, спотыкались, падали друг на друга. Строки загибались книзу — к концу страницы перо почти проваливалось в нижнее поле. Торопился. Боялся не успеть. Или боялся успеть — и тогда придётся подписывать.

На второй странице — протокол первого допроса. Вопросы стандартные: «Признаёте ли вы себя виновным?», «Назовите сообщников», «С какой целью вы вели антисоветскую пропаганду?». Ответы — нестандартные. Философ не признавал вину. Не называл сообщников. На вопрос о целях отвечал: «Я искал истину».

К. перевернул страницу.

Третий допрос. Четвёртый. Пятый. Почерк следователя становился всё более дёрганым. На полях появились пометки: «не колется», «требуется очной ставки с Богом», «возможно, симулянт или святой». Последнее слово было зачёркнуто — жирно, с нажимом, до дырки в бумаге. Но прочитать можно.

На шестом допросе — перерыв в две недели. К. знал, что это значит. Две недели — это не просто пауза. Это карцер. Или подвал. Или то, что Безродный называет «хозяйственной частью». После перерыва почерк следователя изменился. Он стал спокойнее. Увереннее. Ответы Философа стали короче. На вопрос «Признаёте ли вы себя виновным?» — «Признаю». На вопрос «В чём именно?» — «В том, что искал истину там, где её нет».

Последняя страница. Почерк снова дёрганый — но по-другому. Не испуганный. Лихорадочный. Как будто следователь спешил записать то, что услышал, пока не забыл. Последний вопрос: «Что есть истина?». Ответа нет. Только клякса — бурая, старая. И под ней, трижды подчёркнутое красным карандашом: «ЗНАЕТ».

К. закрыл папку. Руки его не дрожали. Это было странно. Он ожидал, что будут дрожать. Что сердце забьётся чаще. Что таблетка правды — или совесть, или страх, или всё вместе — заставит его отложить папку, встать, выйти из кабинета и никогда не возвращаться. Но руки лежали спокойно. Ладонями вниз. Пальцы чуть согнуты — как у человека, который собирается встать, но не решается.

Он подумал: *«Я уже читал это дело. Не сейчас — раньше. Не в этой жизни — в той. Или не читал, а писал. Или не писал, а был тем следователем. Или тем Философом. Или той кляксой».*

Он потёр виски. Мысли путались. Надо было идти на оперативку.

Он встал. Подошёл к зеркалу — маленькому, мутному, висевшему над умывальником. Из зеркала на него смотрел человек. Лицо его было лицом К. — или того, кого К. теперь заменял. Глаза — серые, как небо за окном. Под глазами — тени. Не мешки, не синяки — именно тени. Как будто кто-то провёл пальцем по мокрой краске. Щетина. Усы. Нижняя губа чуть выпячена — не от упрямства, а от усталости.

Он долго смотрел в зеркало. Потом сказал вслух:

— Доброе утро.

Губы в зеркале шевельнулись. Звук был тихий, хрипловатый — голос ещё не проснулся. Или не проснулся никогда.

— Доброе утро, — повторил он.

Теперь голос звучал увереннее. Почти как его собственный.

Он поправил воротник. Проверил карманы. В левом — пачка папирос, смятая, полупустая. В правом — скрепка. Он не помнил, как положил её туда. Может быть, машинально. Может быть, она сама переползла — как переползают вещи в комнатах, где никто не живёт.

Он подошёл к двери. Взялся за ручку. Ручка была медная, холодная. Он постоял так секунду. Две. Три.

Потом толкнул дверь и вышел в коридор.

В коридоре пахло карболкой и махоркой. И ещё чем-то — едва уловимым, на грани обоняния. Может быть, хлебом. Может быть, тишиной. Может быть, тем, что остаётся, когда из воздуха убирают ложь.

Он пошёл по коридору. Шаги его тонули в ковровой дорожке — красной, цвета запёкшейся крови. Или цвета знамени. Или просто красной — потому что красный дешевле стирать.

Навстречу попался Безродный. Глаза-треска скользнули по К. — влажно, цепко, с той особой рыбьей бесстрастностью, от которой хотелось умыться.

— Доброе утро, — сказал Безродный.

— Доброе, — сказал К.

И на этот раз он не запнулся. Может быть, потому что утро действительно было добрым. Может быть, потому что он перестал отличать доброе от злого. Может быть, потому что Безродный не спрашивал, а просто двигал жабрами.

— На оперативку? — спросил Безродный.

— Да.

— Ну-ну. — Безродный хрюкнул — это означало смех, — и пошёл дальше. Его спина удалялась по коридору — сутулая, серая, как у всех здесь.

К. дошёл до двери с табличкой «Майор Гнилозубов». Остановился. Из-за двери слышалось монотонное гудение — Гнилозубов читал сводку. Цифры. Проценты. Нормы. Слова сливались в один долгий, бессмысленный звук, как шум воды в трубах. Как мычание Инженера, только наоборот. Там — истина без слов. Здесь — слова без истины.

Он толкнул дверь.

В кабинете было накурено. Синий дым слоился под потолком — не рассеивался, а именно слоился, как будто воздух здесь был другой плотности. За длинным столом, покрытым зелёным сукном, сидели они. Сослуживцы. Хор мёртвых душ.

Гнилозубов поднял голову от бумаг. Глаза его — две мутные пуговицы, под стать машинисткиным, — остановились на К.

— Опаздываете, товарищ К.

— Да, — сказал К. — Зачитывался делом.

Это была правда. Или ложь. Или и то и другое.

Гнилозубов кивнул. Циркуляр у него в груди — или там, где у нормального человека должна быть душа, — одобрительно шелестнул. К. прошёл на своё место. Сел. Положил руки на стол — ладонями вниз. Потом перевернул ладонями вверх. Потом снова вниз.

Человек в штатском, сидевший в углу, улыбнулся уголком рта. К. заметил это боковым зрением. И подумал: *«Он знает. Он всё знает. Но молчит. Потому что молчание — это не ложь и не правда. Это просто воздух, который ещё не стал словами».*

— Приступим, — сказал Гнилозубов.

— Приступим, — сказал К.

И оперативка началась.

За окном кружились пылинки. Часы на стене не двигались. Где-то далеко, этажом ниже, закричали — но крик был почти не слышен. Как эхо слова «Знаю». Как тишина, которая наступает, когда перестаёшь задавать вопросы и просто начинаешь слушать.

К. слушал. Гнилозубов бубнил сводку. Цифры. Проценты. Нормы. Слова, слова, слова. И где-то под ними — глубоко, на уровне почти неслышимого, — звучало другое. Не мычание. Не крик. Не шёпот. Просто тишина, которая была здесь всегда. Просто правда, которая не нуждалась в словах.

Он сидел, положив руки на зелёное сукно, и впервые за долгое время — может быть, за всю жизнь, может быть, за всю смерть — чувствовал, что дышит. Просто дышит. И этого достаточно.

Глава 2. Сослуживцы, или Хор мёртвых душ.

Совещание началось.

Гнилозубов читал сводку — монотонно, не повышая голоса, не понижая, не делая пауз между смысловыми блоками. Слова сливались в один долгий гул, и К. подумал, что если закрыть глаза, можно представить себе не майора НКВД, а большой вентилятор, который гонит по коридору тёплый, отработанный воздух. Воздух пах пылью и временем.

— ...за истекшие сутки по четвёртому отделу — двадцать три ареста, из них семь по списку, шестнадцать по оперативной разработке. Признательных показаний — девятнадцать. Расход материалов — четыре единицы. Недобор по признательным показаниям — четыре. Из них два — за товарищем К.

Гнилозубов поднял глаза от бумаг. Глаза у него были мутные, как у варёной рыбы, которую слишком долго держали в кипятке. Или не мутные — просто безразличные. Как будто он смотрел не на К., а на цифру, которую тот собой обозначал. Единицу недобора. Прочерк в ведомости.

— Товарищ К., у вас двое подследственных. Инженер и этот... как его...

— Философ, — подсказал Безродный.

— Философ, — повторил Гнилозубов, и слово это прозвучало в его рту как ругательство. Не как профессия, не как обвинение — как медицинский диагноз. Философ. Вроде «сифилистик» или «эпилептик». Что-то, что требует изоляции. — Так вот. Двое. И ни одного признания. Это не работа. Это... — он замялся, подбирая формулировку, — вредительство.

К. открыл рот. Таблетка правды — или то, что он называл теперь таблеткой, потому что слово «совесть» было слишком громким, а слово «страх» слишком мелким, — нажала на язык.

— Инженер не может говорить, — сказал он. — Ему выбили зубы.

— Это не оправдание, — отрезал Гнилозубов. — Беззубые тоже признаются. Пишут. Вы давали ему бумагу?

— Он не пишет.

— Почему?

К. хотел сказать правду. Правда была такая: инженер не пишет, потому что писать — значит врать. Потому что протокол создан для лжи. Потому что слова «признаю себя виновным» на бумаге означают не признание, а усталость. А инженер ещё не устал. Или устал, но не до конца. Или до конца, но не так, как нужно.

— Он неграмотный, — сказал К.

Это была ложь. Он не знал, грамотный ли инженер. Он вообще ничего о нём не знал — кроме того, что тот мычит в своей камере и смотрит в стену глазами, в которых ничего нет, кроме ожидания. Но ложь сработала. Гнилозубов кивнул. Неграмотность — это уважительная причина. Неграмотность вписывается в статистику. Неграмотных можно передать в другой отдел.

— А Философ? — спросил Безродный, и глаза его блеснули влажной плёнкой. — Философ-то грамотный? Или у него тоже зубы?

По столу прошёл смешок. Смеялись не все — человека три, не больше. Но смех был особого свойства: не весёлый, не злой, а какой-то рефлекторный. Как будто кто-то нажал кнопку, и три челюсти синхронно разжались, выпуская воздух.

— Философ отдыхает, — сказал К.

Смех оборвался. Тишина стала другой — не тишиной совещания, а тишиной допроса. К. почувствовал, как воздух в комнате сгустился, как перед грозой.

— Отдыхает? — переспросил Гнилозубов. — В камере? У вас там санаторий, товарищ К.? Может, ему ещё простыни поменять? Может, фрукты? У нас в хозяйственной части, — он покосился на Безродного, — есть яблоки. Для особо ценных подследственных.

— Яблоки кончились, — сказал Безродный. — Одни огрызки.

И снова смешок — теперь уже другой, жирный, как плёнка на глазах.

К. положил руки на стол. Ладонями вниз. Зелёное сукно было шершавым на ощупь — казённое сукно, пропитанное табачным дымом и временем. Он провёл по нему большим пальцем — туда-сюда, туда-сюда. Палец оставлял на ворсе тёмный след.

— Подследственный находится в ослабленном состоянии, — сказал он. Голос его звучал ровно. Почти как у Гнилозубова. Почти как у машинистки, когда она предлагает уронить скрепку. — Если он умрёт до допроса, мы не получим показаний. Это не санаторий. Это рациональное использование ресурса.

Слово «ресурс» повисло в воздухе. К. видел, как оно долетело до Гнилозубова, как майор мысленно ощупал его со всех сторон, проверяя на наличие скрытых смыслов. Скрытых смыслов не было. Ресурс — это ресурс. Уголь. Сталь. Человек. Всё учтено.

— Хорошо, — сказал Гнилозубов. — Даю вам трое суток. Если через трое суток признания не будет — передадите обоим Безродному. У него методы... эффективнее.

Безродный хрюкнул. На этот раз хрюканье было долгим — как будто он пробовал смех на вкус и не мог решить, нравится ему или нет.

— Я понял, — сказал К.

— Вот и славно, — сказал Гнилозубов. — Продолжаем.

И сводка потекла дальше. Цифры. Проценты. Фамилии. Нормы расхода. К. слушал вполуха. Он думал о том, что только что соврал Гнилозубову — про неграмотность. И соврал Безродному — про ресурс. Или не соврал. Или «рациональное использование ресурса» — это и есть правда, просто упакованная в канцелярскую бумагу. Правда не может существовать голой. Ей нужна упаковка. Иначе она замёрзнет. Или её расстреляют.

Он посмотрел на свои руки. Ладони вверх. Ладони вниз. Они не дрожали. Это было странно. Раньше, до смерти, до Бога, до всего, руки у него дрожали постоянно. Не сильно — мелкой, почти незаметной дрожью, как у алкоголика или у человека, который слишком долго боится. Теперь — нет. Может быть, смерть лечит от страха. Может быть, когда боишься вечности, временное уже не пугает.

Человек в штатском сидел в углу и улыбался уголком рта. Он не участвовал в совещании. Он вообще ничего не делал — просто сидел, положив ногу на ногу, и смотрел на К. Не на Гнилозубова. Не на Безродного. На К. И взгляд этот был не враждебный, не дружеский, а какой-то оценивающий. Как будто человек в штатском был коллекционером, а К. — экспонатом, который пока не решили, в какую витрину поставить.

К. отвёл глаза. Сделал вид, что записывает что-то в блокнот. Блокнот был чистый. Он написал: «*трое суток*». Подумал. Приписал: «*ресурс*». Подумал ещё. Зачеркнул «ресурс» и написал: «*человек*». Потом зачеркнул и это. Оставил чистое.

После совещания он задержался в коридоре. Гнилозубов вышел первым, прошелестев циркуляром в груди. Безродный проплыл мимо, обдав запахом трески и одеколona. Остальные разошлись быстро, как вода в песок. Остался только человек в штатском. Он стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел на серое небо.

— Красивое сегодня утро, — сказал он, не оборачиваясь.

К. подошёл ближе. На всякий случай — на два шага ближе, чем требовалось. Чтобы не показывать страх. Или чтобы не показывать отсутствие страха.

— Серое, — сказал он.

— Серое — это и есть красивое, — сказал человек в штатском. — У серого много оттенков. Синий — он просто синий. Красный — просто красный. А серый — это и голубой, и коричневый, и чёрный, и белый. Всё вместе. Как правда.

Он повернулся. Глаза у него были светлые — не серые, не голубые, а именно светлые. Как вода в стакане. Как линзы, через которые смотрят на микробов.

— Вы интересный человек, товарищ К.

— Спасибо.

— Это не комплимент. Это наблюдение.

Он достал из кармана портсигар — серебряный, с гравировкой. К. не успел разобрать, что там выгравировано, — человек в штатском щёлкнул крышкой, извлёк папиросу, закурил. Дым был сизый, слоистый, как в чистилище. Как у Бога.

— Вы не боитесь? — спросил человек в штатском.

— Чего?

— Смерти. Правды. Разницы нет.

К. помолчал. Потом сказал:

— Боюсь. Но меньше, чем раньше.

— Это потому что вы уже умерли, — сказал человек в штатском. — Я прав?

Он смотрел на К. в упор. Светлые глаза не мигали. Дым поднимался к потолку — медленно, лениво, как будто даже дым в его присутствии вёл себя иначе.

— Не знаю, — сказал К. — Может быть.

— Хороший ответ. — Человек в штатском затянулся. — «Не знаю» — это почти правда. Почти. Не хватает одной детали.

— Какой?

— Если бы вы знали, вы бы мне не сказали. А если бы сказали, это была бы ложь. А ложь вам нельзя. Я слышал.

Он улыбнулся. Теперь улыбка была шире — на пол-лица. И в этой улыбке не было ни тепла, ни угрозы. Было что-то третье, для чего К. не мог подобрать названия. Может быть, любопытство. Может быть, профессиональный интерес. Может быть, скука.

— Кто вы? — спросил К.

— Я — наблюдатель, — сказал человек в штатском. — У вас своя функция, у меня своя. Вы ищете правду. Я смотрю, как вы её ищете. Иногда — записываю. Иногда — докладываю. Чаще — просто смотрю.

— Кому докладываете?

Человек в штатском выпустил дым. Дым завился в кольцо — идеальное, ровное, как циркулем начерченное, — и поплыл к потолку.

— Тому, кто задаёт вопросы, — сказал он. — Вы с ним уже встречались. И ещё встретитесь.

Он щелчком отправил окурок в открытую форточку. Окурок исчез в серости — не упал, не пролетел, а именно исчез, как будто небо всосало его без остатка.

— Удачи, товарищ К. Трое суток — это не так много, как кажется. И не так мало, как хотелось бы.

Он развернулся и пошёл по коридору. Шаги его были бесшумны — ковровая дорожка съедала звук.

К. остался один. В коридоре пахло папиросным дымом и ещё чем-то — тем самым запахом, который он почувствовал утром. Хлеб. Или вода. Или тишина.

Он пошёл к себе в кабинет. Надо было готовиться к допросу Философа. Надо было решить, что делать с Инженером. Надо было как-то прожить эти трое суток — и не солгать, и не умереть, и не сойти с ума.

Он вошёл в кабинет. Сел за стол. Открыл папку с делом Философа.

С последней страницы на него смотрело слово — трижды подчёркнутое красным.
«ЗНАЕТ».

— Что ты знаешь? — спросил К. вслух.

Бумага молчала. За окном кружились пылинки. Часы на стене не двигались.

Он закрыл папку. Взял чистый бланк протокола. Обмакнул перо. Написал:

«Допрос подследственного № 742. Начат: сегодня. Окончен: никогда».

Подумал. Зачеркнул «никогда». Написал: «по мере выяснения».

Подумал ещё. Оставил как есть.

За окном было серо. И серое было красивым.

Глава 3. Инженер, который мычит, или Голос без зубов.

Камера Инженера находилась в конце коридора, там, где стены уже не были белыми — они были серыми, с разводами сырости, похожими на карты неоткрытых континентов. Лампочка под потолком мигала — не ритмично, а как придётся, словно электричество подавали не из сети, а из чьей-то умирающей воли. Конвоир долго возился с ключами. К. ждал.

— Он тихий, — сказал конвоир, не оборачиваясь. — Не буянит. Только мычит.

— Давно?

— Всегда. Как привезли — так и мычит. Зубов нет, вот и мычит. А может, и не в зубах дело. Может, он и с зубами мычал. Кто ж теперь разберёт.

Замок щёлкнул. Дверь отворилась.

В камере было темно. Не совсем — серый свет падал из крошечного окошка под потолком, забранного решёткой, — но достаточно темно, чтобы К. сначала ничего не разобрал. Только запах. Запах был тяжёлый, спёртый — не запах страха, не запах боли, а запах времени, которое здесь стояло, как вода в болоте. Так пахнет в комнатах, откуда давно вынесли мебель, но забыли проветрить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.